

Писатели — народ странный, ну прямо дети; жить с ними трудно, ибо в каждую щель лезут со своей указкою, но и без них нельзя. Свою внутреннюю язву «дражнят» в упоении и невольно этой чесоткой заражают многих. Знать, для какой-то цели Бог наслал их на землю вместе с грехами, слабостями, шалостями и весьма сомнительными достоинствами, которые, однако, перевешивают все их недостатки. Вот, вроде бы, и не сеют они, и не пахут, балуются со словами и буквами, бессмысленно истрачивая драгоценную жизнь, но эта хитрая умственная игра с Богом и дьяволом исполнена такого непонятного вещего смысла и такого притягательного, обавного чувства, что за литераторами, как слепые за

поводырями, мы охотно тащимся, словно зачумленные или опоенные «мухомором», и в этом наваждении порою готовы свалиться в яму... Но ведь писатели и сами-то походят на нищую братию, на калик переходжих и, уцепившись за идею учительства и за чувство превосходства своего, как за «вервь непроторженную», готовы в любую минуту, поддавшись человеческой беспомощности и унынию, с повязкою на глазах взмолиться к Господу: «И кто нас оденет, обует, и кто нас теплом обогреет...» Баюнки и обавники, спасители человечества и искусители, учителя и духовники, страдальцы и чревоушители, дети Христа и спосыланники «не наших», — сколько всего густо и неразборчиво понамешано в этой породе... К ней по завещательной и неисповедимой судьбе принадлежу и я...

А по складу письма сразу виден сочинитель: или гордец он, или протест, или на дуде игрец, самовлюбленный он, или Богом удивленный, кто всякий смысл на небесах прочитывает.

Одни пишут трудно, измощая себя по ночам, изнураясь кофеем, вытягивая из головы строки, как собственные мозговые извилины, свою судьбу они видят как жертвенную, необыкновенную и тем невольно гордятся собою, как Божии посланники... (Федор Достоевский). Другие же сочиняют, как на дудке поют, будто в горле завелась серебряная горошинка, и вот, запрокинув голову, они словно бы считывают стихиры с неведомых нот, что развешаны меж облак... (Сергей Есенин).

Сергей Залыгин, например, писал роман кусками, не зная, куда выведут они, в какие дебри, после раскладывал исписанные страницы на полу, как игральные карты для пасьянса, и, ползая на коленях, наводил в этой путанице сюжетные концы. Залыгин был инженерного ума, рационального склада, вот и строил роман, как натуралист-дарвинист, вырешивая людские судьбы через математическую задачу.

Одни всю жизнь переписывают уже однажды сотворенное, в этой переделке находят болезненное удовольствие, похожее на мазохизм, пытаясь дважды войти в одну реку, повторить пережитые чувства (Леонид Леонов).

Другие пишут сразу набело, вытягивают строку, как шелковую нить шелкопряда, и уже никогда не возвращаются к тексту, то ли стыдясь его, то ли боясь повториться.

Виктор Астафьев порою писал в день по пятьдесят страниц и более, как бы освобождаясь от тяжелой сердечной гнетей, а разрешившись от бремени, годами переплавлял словесный хаос, просеивал от шелухи через частые решета. Шутник и балагур, порою матерщинник, пересмешник и злоязычник, с какой-то однобокой желчной памятью, — на письме Виктор Петрович был необыкновенно нежен, чист и романтичен. Он прирос к каждой истинно русской душе своей простонародностью, ароматностью, полнозвучностью слова...

Лев Толстой переделывал тексты по десятку раз, его корявую руку не мог поднять никто, кроме супруги. Само писание, чувство слова, течение мысли на бумаге доставляли ему наслаждение, похожее на любовь к женщине, лошадям, вину и картам. Плодовитость графа во всем была необыкновенна (уже сто лет черновые варианты Толстого — хлеб для вечно несытых литературоведов).

Девиз Олеси — «Ни дня без строчки». Но накуковал лишь два тома.

Василий Белов (по его признанию) садится за письменный стол с чувством неизъяснимой радости.

Александра Куприна жена привязывала к стулу, чтобы он исполнил свой дневной урок.

Кто-то сочинял на ресторанный салфетке, кто-то на лядвии любовницы, кто-то с кокоткой на коленях, в вагонном купе, в горячей ванне, на дружеской попойке, в землянке, перед терактом, на пересылке по этапу, в тюремной камере, в ссылке, «на шарашке», в эмиграции, в шалаше, в Кремле, на супружеском ложе с чашкою крепкого кофе... Магнат и табачный король Александр Потемкин для литературных трудов выстроил дом.

Кто-то пишет лишь перьевой ручкой, полагая, что все душевное и духовное из груди переливается на бумагу лишь через мозолистые подушечки пальцев. Это наивное заблуждение дает им право смотреть с чувством превосходства на тех, кто работает на машинке или компьютере. Для них это «поврежденные», неистинные литераторы, — всего лишь ремесленники (в том числе и «аз» грешный).

Валентин Распутин пишет тонко зачиленным карандашом и настолько мелко, что буквы-блошки его надо прочитывать через мелкоскоп. Они смирны и покорны авторской воле, не скачут, и не городят огорожи. Такая манера позволяет, наверное, постоянно держать ум в напряжении, а сердце в узде.

Строка Александра Проханова похожа на кардиограмму и европейские готические башенки.

Мой отец оставил в школьной тетради всего лишь три странички фантастического романа. Почерк каллиграфически-изысканный, этакое писарское летучее гусарство с хвостиками и прочерками. Так зачастую пишет очень страстный, чувственный человек, сознательно утесняющий в себе всякую распущенность и несдержанность. Для него превыше всего «орднунг», долг и честь.

Многие советские литераторы, не имея приличного жилья, писали на кухне, на подоконнике, в ванной, порою и в туалете. Такая прижимала нужда и коммуналная стесненность.

Иные писатели, начиная произведение, знают, чем закончится оно. Вся интрига продумана, отступления от плана незначительны.

Другие же, подхвативши первую строчку, настроившись на небесную музыку, пишут, как Господь Бог направит, и каждое слово у них в лыко, нет никакой промешки и унылых длиннот, а рука спотыкается лишь тогда, когда все сказано, и любой звук будет уже лишним, разрушит симфонию текста. Для этого нужен особый редкий талант, когда ничего не убавить и не прибавить, когда литератор пишет, как дышит, он сродни изустному народному творчеству и обладает природной мерой.

...Я знал одну мастерицу из Вологодской области (к сожалению, запомнил фамилию), что на краснах (ткацком стане) ткала из тряпок не половики и дорожки, но художественные картины, и, держа в голове весь сюжет, тянула месяцами это полотно длиною метров пять, и ей нельзя было ошибиться, что-то подправить, но надо было постоянно держать в голове в мельчайших подробностях не только перспективу, содержание работы, десятки баб и мужиков, деревенскую гулевую среду, в которой идет праздник, но и блюсти природную меру, характеры, поведение, выстраивать уличную сцену, — а это ох как трудно, если голова гармониста (к примеру) состоит из одного тряпошного кукиша, на который надвинут картуз, но этот кляп из цветной покровки иль лоскута удивительно точно выражал не только физиономию гуляки, но и его нрав и норы, то сосредоточенное самохвальство и достоинство, кое присуще лишь сельскому музыканту, которого по принятому на деревне обычаю обхаживают все девицы — хваленки. Старушка, бывшая больничная сиделка, стала ткать картины, выйдя на пенсию, в семьдесят лет, и

скоро так преуспела в своем необычном таланте, что все ее работы разъехались по музеям страны... Помнится, я спросил ее, дескать, как это делается? И она ответила: «Не знаю... Все как-то само собой идет».

Русская песня

Мне думается, сначала появилась музыка природы: посвист осеннего ветра, шорох листвы под дождем, скрип деревьев, грохот камнепада, разгул грозы, трубный зов мамонта, вой волков. Это же симфония многоголосья и в каждую пору год особенного звучания... В стремлении к небесам, где меж гневных туч метались птицы, древний человек однажды потянулся вверх всем телом, чтобы вернуть утраченные крылья, и, выпрямившись, извлек из груди и выпел первые неверные слова.

Так появилась молитва-песня.

По русским песням можно понять, как возросла, наполнилась чувствами душа человеческая, как вызревала нация. «Сказка-вралья, песня-правда», — говорят в Поморье. Их многие тысячи на Руси, целые необъятные своды исторического знания, потиху тускнеющие, опадающие в небытие под гнетом ростовщического города, поклонившего под себя деревню. «Чтобы петь, нужна глубокая память: на беседке — беседошны, на вечерке — вечерошны, на лугу — луговые, в хороводе — плясальные». А еще были песни величальные и свадебные, солдатские и шутошные, винограде и песни духовные. А после к ним согласно пристали и застольные-советские: песенники, заведенные девичьей рукою, обычно были в каждой русской избе. Это были зачастую самосшитые толстые тетради с рисованными розочками, целующимися голубками, сердцами, безжалостно пронзенными стрелой Амура, засушенными луговыми цветами, короткими выдержками из мировой философской мысли, где речь обычно шла о любви и семье. И у сестры Риты тоже был такой пухлый альбом, и когда в разгоряченном застолье одна песня сходу поджигала другую, как скворчащее в печи бересто, а память гостей иссякала, тут-то и раскрывался в помощь верный помощник-песенник; помню, как я, недоросток, притулялся к сестриному боку, чтобы подглядеть забытую строку.

Один старик в Поморье признался мне: «Последние годы доживаю, а куль песен ещё не развязан».

И прежде тяжеленько жилось на Руси, а пелось; песня — это праздник сердца, это просьба — молитва души, это торжественный поклон Господу, это горестный поминный плач по ушедшим, это страх перед забвением, предупреждение и остережение живущим. Песня духу дает здоровья, она крепит утробу и полирует кровь, очищает слух, возбуждает сердце и ярит плоть, побуждая к чувствам. И какие бы горя русские люди ни претерпевали, но песню тешили. Я еще сам застал ту пору, когда на сенокос бабы едут — поют, домой возвращаются — поют, на жатве — поют и у реки; цветисто сплетали голоса в полдень под копною и в праздничном застолье, на околице в хороводе и на посиделках; а я особенно любил выкрикаться наединку в лесу или на лугу, когда снежок щекотный сыплется с небес, иль метель подбивает в спину, чтобы заглушить тревогу или выплеснуть щенячью радость. Запеть в полный голос в одиночестве под родимыми небесами, когда ты один на весь белый свет — это испытать особенное наслаждение.

Песельница с Мезени Параскева Масленникова рассказывала мне: «Бывало

работаем с мамкой в кузне — поем, молота не слышно. Или когда избу ставили, сижу на срубе, топором тюкаю и песню пою о бабьей доле тяжелой. Тоска по сердцу так и перекачивается. Стонет, бывало, какой-нибудь мужик, помирать собрался, а я песню и заведу. Да не простую, игровую. Смотрю, — стонать перестал, а немного погодя уже плечами в лад мне заподергивал. Потом баб сбила петь. С работы и в клуб, поесть не успею. Жонки идут на спевку, одна шаньгу по дороге доедает, другая кулебяку в рот доталкивает, а Нюрка-водовозка на ходу песни учит. У меня ухо остро. Услышу, не туда повела: ну-кось, выйди, подружка, из хора, посиди, послушай. Сама врешь, дак других не смущай. Бывало, кто помолже, губу на сторону и слезы в кулак; таких быстро домой выпровожу, чтобы не мешали».

В Поморье поют наособинку, не как в срединной Руси. Поют, как вяжут тончайшие кружева, цветисто, с протягом, с выносом, на самых верхах. Так зимняя вьюга пристанывает в дымнице, пробираясь коленами печи в теплый кут. Слушаешь поморок, — и обжигает всего, и на слезу невольно запозывает, и не знаешь куда глаза спрятать. Наверное, простор этот, безбрежность земли, моря и неба, долгие зимы, ненастье, частые неизбежные тягости и породили этот орнамент, незримой цепью соединяющий нас с утекшей за тысячи лет русской родовой. Поют женочки так высоко, так пронзительно, что выше и не взяться; кажется, сердце сейчас от натуги лопнет, и голос вот-вот сорвется, как перетянутая струна.

Поют поморки, чтобы слово с губ вспархивало и летело, не присыхало к зубам, как коровья жвачка, без невнятицы и гугни, ибо правда песни, ее искреннее чувство живут лишь в образном слове; только слово дает песне родового и исторического смысла, без чего она становится первобытной и скатывается в пещерные дикие времена. Надо понимать, что прежде пели песни на людях, на кругу или на вечерке лишь девицы-хваленки, хороводницы, что на выданье, девицы, княгинюшки, у кого в груди не сохлось от забот, и зубы, как ядрышки. Женщины-матери пели в избе колыбельные или на покосе в гурту. Мужики пели на промысле или на лошади едучи: «Ямщик, песенку запевши, сам гонит тройку лошадей». Но я уже того хороводного девичьего пения не застал; чаще всего тянули песню крестьянки изжитые, изработанные, беззубые, но и эти бабени старались любовное слово донести, как предание, как воспоминание о минувшей жизни.

Хранительнице народной песни, профессору Нине Константиновне Мешко уже под девяносто; она не просто сторож, ключница при кованом сундуке с сокровищами, но научительница и учительница русской музыкальной эстетики. Из последних сил вроде бы упирается, старенькая, но не сгибается, духу не теряет, упорно стоит на страже, не дает обрушить народный строй песни, ее душу, пестует, выпускает своих птенцов по уголкам России, чтобы оборонить песню от шутовских ряженных одежд, ибо народной песне были свойственны строгость, порядок, выход, торжественность, благопристойность, скромность, душевный покой, сердечная радость. Профессор Мешко подхватила школу народного пения и, несмотря на искусства, держит ее в верности преданию; легко все изветрить, пустить в пыль и труху, но так трудно сохранить в прежнем чине, не подрезать песне крыльев. Вот она своим ученицам и внушает: «Народный звук — звук открытый. Как из кудели ниточку тяни. У хорошей пряжи нитка тонкая, ровная, а у плохой вся в узлах. Головой думать надо, — и показала на голову. — Есть закон, — думай всё наперед. Не когда запела, а прежде, чем голос подашь. Голос должен звучать на губах, там, где у тебя слово. Если весло глубоко в воде, лодка едва плетется, а

если поверху пускать — то она летит. Так и голос не надо прятать в горле. Надо научиться как бы стоять в стороне от собственного голоса и слушать его, и думать о нём, и руководить. Важно знать, тот ли это звук, от которого голос начнет развиваться, или сразу замрет. Прислушайся, чтобы песня запела внутри тебя. Северное пение самое трудное, текучее, звонкое, плавное, тонкое, проголосное, всё в изгибах и коленах, как тундровая река, переливах; голос вяжется, льется, прядется, но только не толкается, не бросается вон».

Для русской песни нужен особенный настрой, зажим, напряг; песня ждет своей поры, подпирает человека изнутри, она рвется наружу из подвздошья, как из клетки, ей, как и человеку, нестерпимо хочется воли. И чем меньше воли в России, тем скуднее чувства; как редко нынче запоют в застольях, уже за чудо услышать песню на лугу или в поле, на околице у деревни, у реки. Это замирает, скукоживается, как шагреневая кожа, мертвеет наша национальная сущность. Вот будто властный и злой чуженин пришел на Русь со своим уставом и иначит, кроит народ без устали на свой лад, опошляет всё, к чему бы ни прикоснулись его руки.

Духовная, эстетическая сторона дела необъяснима и непонятна даже мастерице... Я гладил эту картину из тряпок и поражался неисследимой глубине русской души.

Долго можно толковать о писательском ремесле, той самой таинственной кухне, на которой в алюминиевых кастрюлях и чугуниках варятся «шедевры», о которой так любят сплетничать из «передней» литературы, подглядывая в замочную скважину минувшего, перетряхивать семейный быт, попойки, любовниц и любовников, болезни, недостатки, скверность характера, поступки, замысловатые колена отношений, — судачить о всем том глубоко личном, интимном, что вроде бы близко к писательству, может и прилегает каким-то боком к нему, опосредованно намекая на изюминку в человеке, но, оказывается, никак не раскрывает секрета, происходящего на писательской кухне, всех приправ, качества и аромата «художественного варева». Ибо все это только плотское, телесное, физиологическое, — о чем подглядывают, а духовное, душевное объяснению и толкованию не поддаются, ибо в них мало земного, но много небесного, что связано с Богом. Все вроде бы понятно: вот взял беллетрист стило, писало, гусиное перо, шариковую ручку, или окунул стальную «лягушку» в непроливашку, нажал клавишу печатной машинки или компьютера, и чувство, мысль писателя, возникнув в глубине сознания, разродились в виде бегучей строки. Ну и что? Суть так глубоко зарыта, что не докопаться до нее, ибо мы не знаем, что такое мысль, где ее жилище, каким образом она одевается в личину, наряжается в словесные образы. И вообще, в голове человека она обитает, или считывается с невидимого экрана, или нашептывается на ухо? ...А что такое слово?.. Откуда оно берется, где хранится его энергия и куда девается, а может в небесных «облаках» и озерцах скапливается до времени? ...Все ремесло лежит на поверхности, орудия его крайне просты (если нет рук, можно писать и зубами), но и все, слава Богу, необъяснимо, и оттого притягательно, завораживающе, словно блуждаем мы в густом непроницаемом тумане, похожем на свинцовую стену, сквозь которую не проткнуться никогда. Как бы мы ни бились лбом... Мы верно знаем, как зачинается и рождается дитя, но как его судьба запечатана в крохотном семени, каким образом сгущена вся история его вместе с чередой предков, — вот этого нам не поверит никто. И во всем том, что я припомнил о писателях, конечно больше мистики, суеверий, досужих причуд и старинных примет, — ибо все это лишь крутится вокруг необычных способно-

стей добывать «хлеб духовный», прилежит к ним, принадлежит им, но никак не объясняет их. Случается порою, что талант, этот дар Божий, бывает ниспослан человеку невероятно скучному, невыразительному во всех отношениях — в судьбе и облике, и в поведении, и в качествах натуры — этакому пресному «человеку в футляре», и как бы ты ни крутил его судьбу, как бы ни выминал из «глины его жизни» интригующий образ, а получается лишь обычный кухонный человек, приодетый в чужое нарядное платье... Область духа не подвластна нашему пониманию. Где плоть сопрягается с духом — там все неясно, все загадочно. Там религиозная мистика. А мистика — основа правды и сама правда.

Иной литератор напишет одну работу, порою чрезвычайно интересную, как бы вскрикнет, изумясь красоте матери-сырой земли, удивясь своему неожиданному таланту, а после и замолкнет, будто захлебнется горлом от переизбытка напоенного луговыми травами воздуха, и больше никогда не раскроет рта, прозябая длинную жизнь, и тайно презирая тех, кто упорно сидит за чернилкой (Андрей Скалон, «Живые деньги»).

...Другой же пишет и пишет, страдает непонятный урок, словно бы впрягшись в ломовую телегу, сам себя изнуряет в тесном хомуте, натирает холку, не видя белого света, заключив себя в добровольную темничку. Борис Бондаренко, уже тяжело больной, затворился в глухой деревнюшке в старую изобку в три окна, и, глядя в заиленное от дождя иль занесенное пургою стекло, упорно вершил роман в сто печатных листов, и умер за столом от рака за последними его страницами. Что за неволя заставляла спешить, изнурять себя, что за наваждение царевало над ним, кто пригнетал на работу, какая невидимая рука вела и поддерживала его дух в мучительные минуты, когда от боли ссыхалась, изнемогала его утробушка. Такая судьба была прописана Бондаренко от рождения, и он исполнил ее беззаветно, а другого объяснения не сыскать. Дух и плоть боролись за человека и нечем, кто кого оборол в этом трагическом поединке... Какое-то роковое, тяжкое, но и победительное заключение жизни...

Пятилетняя девочка Даша, дочь нашей приятельницы, однажды спросила у церковного старосты: «Бог придет?» — «Обязательно придет», — ответил он. «Когда Бог придет, то позвоните, пожалуйста, моей маме». — «Обязательно позвоню», — пообещал церковный староста.

Мне думается, что Борис Бондаренко и писал в терпеливом ожидании Бога, может и чувствовал его присутствие за окнами, на сиротской улице, заросшей топтун-травой, ожидая всем сердцем, когда скрипнет похилившееся крылечко, отпахнется дверь, и в пустынное невзрачное жило войдет Он. Затворник опустится перед Ним на колени и скажет: «Господь, я исполнил Твой урок...»

И действительно вдруг захрустит снег под закуржавленным оконцем, протяжливо вскрикнет набрякшая дверь, и вместе с облаком морозного пара появляется на пороге жена Надежда с авоськами и сумками, его верный охранитель, ангел спасения...